Содержание

МОРЯ **7**

РЕКИ **71**

ПРУДЫ, ОЗЕРА, ЛИМАНЫ **143**

ФОНТАНЫ **165**

САУНЫ И БАНИ **195**

ДОЖДЬ **229**

АРЫК **235**

УРАГАН **241**

Предисловие

Все содержащееся под этой обложкой называется «Книга воды». Можно было бы назвать ее «Книга времени». Потому что оно о времени. Но я предпочел воду. Вода несет, смывает, и нельзя войти в одну воду дважды. В результате получилось странное произведение: появились географические воспоминания, судьбоносные совпадения. Так, я побывал на одном берегу Адриатики — в Венеции в 1982 году в очень странной компании, а через одиннадцать лет брел по противостоящему берегу Адриатики — балканскому, с автоматом, в составе отряда Военной полиции ныне покойной Республики Книнская Краина. Летом 1974-го я проехал сквозь Гагры, направляясь в сторону Гудаут, в спортивном автомобиле француза в компании красивых женщин, а в 1992-м бродил по заросшему сорной травой пляжу Гудаут — авантюрист, приехавший на помощь Абхазской Республике.

Еще оказалось, что я выловил в океане времени самые essentiels предметы: так, прочитав первые сорок страниц рукописи, я обнаружил только войну и женщин. Автоматы и сперма внутри дыр любимых самок — вот каким оказался немудрящий итог моей жизни. Часть подобного выбора необходимо списать за счет места написания книги — военная тюрьма для врагов государства, но ведь не всё же!

Некоторые эпизоды этой книги мелькали и в других моих книгах, но, будучи представлены в ином контексте, они были лишены глубины и не выделены, имели характер эскизов. Здесь они дописаны и приобрели самостоятельный характер. «Книга воды» — это о водах жизни, потому намеренно смешаны ее эпизоды, как смешаны воспоминания памяти или предметы несутся в воде. Перед тобой, читатель, — оригинальная книга воспоминаний. А так как мои наклонности

всегда были двойственны — я с ранних лет проявил себя и как Дон Жуан или Казанова, одновременно преследуя будущее солдата и революционера (ориентируясь на Бакунина и Че Гевару), то и результат получился двойственным: перед тобой смесь «Боливийского дневника» с «Воспоминаниями Казановы».

Моря

Средиземное море / Ницца

Наташа была рослая девушка с фигурой пловчихи. Плавала она очень серьезно. Тщательно надевала на голову шапочку, задумчиво входила в воду, лишь в последний момент позволяла себе тихо взвизгнуть, когда, зайдя достаточно глубоко, уже ложилась на волну, чтобы плыть. После этого она серьезно выполняла работу плавания и не любила, чтобы на нее брызгали, приближаясь, другие пловцы. Я видел ее с пляжа и говорил себе: «Вот плывет моя жена». На пляже в Ницце могли спокойно увести наши вещи, потому мы не плавали вдвоем. Она приходила из моря, я — уходил в море, никого третьего или четвертого с нами не было. Море было роскошное. Как на туристских проспектах — аквамариновое. Портило море только неумолчное гудение автомобилей по английскому променаду. Улица тянулась вдоль пляжа наверху, и бензиновые выхлопы, раскаленный асфальт, многие тысячи раскаленных вонючих железных тел автомобилей ощущались и внизу, у моря. Вода была как парное молоко. Наташа была злая. Потому что у нас не было компании. Мы ехали в Ниццу из городка Безье вдоль всего побережья Средиземного моря. В Безье нас провожал Мишель Бидо в сандалиях. Худой и ироничный. Наташи он боялся. Мы прожили у него в деревушке Кампрафо три недели и одичали. В деревушке летом одиннадцать жителей — считая нас. Зимой жителей было восемь. В Ниццу мы ехали через Тулон, Марсель, Канны в поезде, где были открыты окна и люди стояли как в русской электричке. Люди были простые: веселые арабы, матросы в шапочках с помпонами. Было много пьяных. Со свистом проносились мимо платформы с пальмами. В том поезде Наташа чувствовала себя много лучше, чем в Кампрафо, потому что на нее смотрели

арабы и матросы и одобряли ее. Она всегда нравилась простому, немудрящему полукриминальному люду. В Кампрафо на нее было некому смотреть. Из восьми зимних обитателей деревушки двое были любящая семья гомосексуалистов — они выращивали коз, производили из козьего молока экологический сыр и продавали его в ближайшем городке Сент-Шиньян. Шестеро остальных обитателей были дети, девочки и старики.

В Ницце нас ждала квартира подруги Наташи. В доме с коридорной системой. Там был балкон, неудобная постель, похожая на лежанку на русской печи. Я донимал Наташу своей похотью, а она раздраженно оборонялась. Или объявляла: «Ну давай, давай» — и возмущенно лежала как мертвая. Вечерами мы ходили в рестораны. Наташа была красивая: загорелые ноги, красная юбка, черная кофточка в белый горошек, хриплый голос, мрачное насмешливое лицо. Но и в ресторанах ей не нравилось, хотя я выбирал дорогие, в тот год я хорошо зарабатывал. Это был последний мой мирный год: 1990-й.

И в ниццеанских ресторанах ей было скучно. В Париже мы не ходили в рестораны, потому что Наташа и так работала в ресторанах, много лет в дорогом «Распутине», потом в демократичной «Балалайке». Я всегда был такой проницательный, что самому было противно. Диагноз мне был ясен. Если в Кампрафо не было мужчин и некому было глядеть на Наташу, восхищаться ею, говорить ей комплименты (белесый, с фигурой подростка, тощий, часто обкуренный Мишель Бидо, наш друг, тотально не подходил для флирта), то в Ницце было много мужчин, половина официантов Ниццы выглядели как Алены Делоны, однако был непреодолимый фактор, препятствие между Наташей и Делонами — я. Наташа меня любила, но и жизнь она любила так же сильно. Ее удовлетворил бы, пожалуй, и легкий флирт,

но у нас даже не было компании. Так что месяц аскетизма дал о себе знать. Наташа плавала все серьезнее.

Я изучал въевшиеся, прилипшие к ногам камешки. Заметил на них мазут. По всей вероятности, вечерами потерпевшие дорожно-транспортные происшествия мсье или мадамы спускались к пляжу, чтобы омыть некие детали своих автомобилей, и подпортили пляж тем, что ставили на него карбюраторы и амортизаторы. Я встал, нащупал взглядом далеко у кромки красных буев плывущую голову Наташи. Повернулся к городу Ницце. Балконы роскошных отелей были покрыты разноцветными тентами. Над Ниццей дрожало знойное марево. Это были счастливейшие дни скуки и непонимания.

Мы посетили русский собор и бешено поругались на вокзале. Она выкрикнула мне все, что, ей казалось, было во мне плохого и отвратительного и что ее не устраивало. Тогда я был потрясен несправедливостью обвинений, сейчас не помню ни слова. Потом мы помирились и быстро ехали на TGV, на скоростном экспрессе в Париж. Я выпил две литровые банки ледяного пива и, добравшись до нашей квартиры на Rue de Turenne, стал умирать от удушья. Вскоре выяснилось, что это были первые приступы астмы.

Черное море / Одесса

В Одессу нас привезли ребята из Службы безопасности Приднестровья. В машине. Машина была удобная и современная, пахла кожей. Между ее подушками, и под ними, и в них ребята из Службы безопасности Приднестровья еще в Тирасполе рассовали всякие штуки, о которых мы вспомнили только в последний момент и которые перевозить запрещается Уголовным кодексом Украины. До того как подвезти нас к вокзалу, ребята из Службы безопасности остановились на тихой одесской улочке и перевели то, что запрещается перевозить, в наши с Владом сумки. Остановившись у вокзала, мы вышли и обнялись. Второго сопровождающего я больше не видел. С офицером Сергеем Кириченко увиделся через два года в Москве, он приезжал хоронить отца. Единственный наследник квартиры на Лесной улице, Сергей должен был осенью 1994-го сдать квартиру мне, но был убит в октябре. Якобы чистил пистолет, и пуля случайно попала ему в голову. Дело происходило на первом этаже, окно было открыто, в начале октября в Тирасполе еще тепло. Это через два года. Ну а тогда мы стояли на раскаленном асфальте Одессы у вокзала. Р-раз, и дружно обнялись. Все здоровые и молодые. Четверо. Влад Шурыгин — капитан, журналист газеты «День», Сергей и четвертый парень.

Расцепившись, мы пошли с Владом в вокзал. Мы возвращались с войны, с войны в Приднестровье, в Москву. Билетов в обычных кассах не было. Даже у барыг. Мы поднялись на второй этаж и заняли очередь в воинскую кассу. Подумав, я оставил Влада в очереди, а сам отошел звонить по телефону. По дороге сюда, на войну, в поезде Москва — Одесса меня узнал владелец видеобара, так называлось это изобретение, бывший вагон-ресторан, откупленный этим предприимчивым

евреем. Еврей узнал меня, он читал мои книги, потому весь путь до Одессы я наслаждался жизнью — пил порядочное шампанское, смотрел боевик и ел жареную курицу. Вспомнив, что у моего одессита-поклонника «чудовищные связи» (так он сам заявил: «У меня чудовищные связи») на железной дороге, я стал набирать номер его телефона, считывая его с клочка газеты. Номер не набирался. В зале ожидания воняло, как во всех залах ожидания Советского Союза, хотя он и перестал существовать. Воняло нечистой одеждой, дерьмовой едой, тухлятиной, кислятиной, бомжовой мочой и едким потом южных женщин. Краем глаза я увидел, что милицейский украинский капитан, ставший в очередь за капитаном Шурыгиным, разговаривает с ним, указывая на правый бицепс Шурыгина. Мой капитан подкручивает усики и, семеня ногами на месте, отвечает их капитану нечто презрительное и неприятное. Это было видно по выражению лица моего друга, я их все изучил. Вот так, когда он стоит боком и бросает слова через плечо — это верный знак ссоры. Милицейский капитан тычет пальцем в бицепс Шурыгина. Мой капитан легко отталкивает палец. Я уже давно не набираю номер одессита, я держу трубку в руке, и наконец до меня дошла суть ситуации. На выцветшей военной капитанской куртке Шурыгина нашит огромный шеврон СССР с красным флагом — если он не сочиняет, подарили ему этот шеврон ребята из отряда космонавтов. Вдобавок к внушительному размеру — сантиметров десять в длину — шеврон снабжен большими буквами СССР. Украинский мент наверняка спрашивает Шурыгина, чего это он разгуливает тут по Украине, самостийной и незалежной, с шевроном СССР, страны, которой нет. Жарко, украинский мент худой, лысый и противный — ничего хорошего стычка с ним не обещает. Истерик. И тут до меня дошло, что если сейчас нас из-за этого шеврона на бицепсе Шурыгина задержат, то обнаружат содержимое наших сумок и не видать нам свободы долгое время.

Бросив трубку в чьи-то руки, я устремился к Владу. Я оторвал его от пола и потащил за собой.

— Ты чего, охренел, забыл? — шептал я ему.

Украинский мент удивленно смотрел нам вслед. Но за нами не пошел.

— А что он, козел! — Влад оглянулся и попытался вернуться к противнику.

— Ты что, забыл, что у нас в сумках?! — просвистел я ему в ухо.

— Ой, еб твою мать! — ахнул он. И вдруг стал рукой пытаться оторвать шеврон с рукава.

Население вокзала во все глаза смотрело на нас. Шеврон не поддавался.

— Сними куртку, блин, — подсказал я ему.

Он снял. Я взял его куртку и, вежливо глядя на украинского мента, сложил ее и положил в свою синюю сумку, которую уже почему-то держал в руках. Без куртки Влад оказался в тельняшке без рукавов и выглядел как огромный толстый бульдог. Я взял моего товарища за локоть и увел на улицу. Там мы нашли телефоны-автоматы, дозвонились еврею, и он приехал на розовом старом огромном американском автомобиле с женой и родственниками, улыбаясь. Он был так рад, этот любезный человек, что его любимый писатель застрял по дороге с войны. Я называю его здесь только евреем, потому что не хочу повредить этому одному из лучших представителей рода человеческого. Если он на Украине и обнаружится, что он знаком со мною, ему вряд ли будет хорошо, так как еще в 1996 году Генпрокуратура Украины возбудила против меня уголовное дело. А если он живет в России, то тоже ничего хорошего… Я-то сижу в тюрьме.

В Одессе плавился под ногами асфальт, нестерпимо сияло солнце. И над Одессой было такое супермощное глубокое огнедышащее небо, что я почему-то вспомнил двух человек: комбрига Котовского — убийцу и каторжника и генерала

Слащова, кокаиниста и ницшеанца — рубаку, оба они захватывали этот город. Мы поехали в глубину Одессы, где в еврейском дворике, как в деревне, жила масса евреев и все родственники нашего. Мы ели там хамсу и пили водку, а потом, взяв ведра, банки, вишню, водку, селедку, вареники, простыни и детей, поехали к морю, где был день рыбака и у еврея была хибара среди других хибар. Сумки свои с опасной начинкой мы взяли с собой, и они мирно лежали среди утвари добрых евреев.

Я выпил бочку вина и водки. Я съел всю хамсу Одессы. Я сфотографировался на фоне пляжа со всеми еврейскими девушками. Я не был пьян, я был счастлив. Черное море было великолепным, ослепительным, соленым, как бочка с селедкой, Влад говорил с евреями о высших материях, то есть о Жириновском. Сумки лежали. Вечером мы отбыли в Москву в служебном купе брата нашего еврея, бригадира проводников. Добрались благополучно.

Самое невероятное, что волею обстоятельств синяя сумка эта стоит сейчас под шконкой, на которой я сижу в следственном изоляторе «Лефортово».

Адриатическое море / устье реки Каришницы

Мы вышли к нему с отрядом военной полиции, спустившись с каменистых плато, где находились сербские позиции. Была весна 1993 года. Мы вышли на место, откуда только что ушли французы. Я попал в те места из-за телеящика. Прилетев в Париж из Москвы, я сидел дома, пил вино и переживал неудачу. В январе развалилась созданная 22 ноября 1992 года в биллиардной на даче Леши Митрофанова Национал-радикальная партия. Партийцы повели себя абсурдно.

Я сидел, крыл Архипова и Жарикова тяжелым матом. Чуть полегче крыл Митрофанова и Венгеровского, еще легче — Курского и Бузова… Весь славный бывший теневой кабинет. Он же — неудавшаяся партия.

По ящику в Париже показали Хорватию: понтонный мост, который господа хорваты навели через Новиградское ждрило — кажется, так это узкое место называется. В любом случае речь идет о Новиградском море, узком заливе Адриатики, врезавшемся там в сушу. Показали сербского артиллерийского подполковника по фамилии Узелац. Он весело объяснил, как они дождались, пока хорваты достроят свой мост, чтобы сейчас его разбомбить. Подполковник скомандовал «Пали!», и мы увидели, как снаряд рванул аккуратно посередине понтонного моста. К вечеру сюжет повторили. Теперь уже было ясно видно, что от моста остались лишь обрывки на обоих берегах. «Вот где все конкретно и не абсурдно!» — сказал я себе, сложил вещи в сумку, взял денег и поехал в аэропорт. В аэропорту я купил билет авиакомпании «Эр-Франс» Париж — Будапешт. В Будапеште меня ждали сербы. Через несколько дней я стоял на рекогносцировочном пункте под толстым навесом бревен, смотрел в артиллерийский

перископ на Новиградское море, на ждрило (что-то вроде горла, думаю), а рядом стоял подполковник Узелац и объяснял мне, что хорваты начали опять строить мост. «Но мы не торопимся, пусть строят!» Полковник был в каске.

Если бы мы пошагали с полковником к Новиградскому морю, то есть к заливу Адриатики, глубоко внедрившемуся в древнюю землю, и сели бы на катер или лодку, то достигли бы открытых вод. И, переехав какие-нибудь еще двести километров, оказались бы в Италии. Могли бы по прямой попасть в городок Римини, а по кривой — в Венецию. За десять лет до этого, в 1982 году, я побывал в Венеции в очень странной компании, о чем остался след: моя книга «Смерть современных героев». Но нам с полковником туда было нельзя — там у самого залива были хорваты. Смять их у нас не хватило бы сил. Мы защищали свои каменистые плато над Адриатикой. И только.

Я спустился к Адриатике в другом месте. Там, где впадает в Адриатику речка Каришница. До нас там находился лагерь голубых касок, французского батальона, — UNPRAFOR, что это значит, я запамятовал. Эти ребята ездили в белых БТР с голубыми буквами на них, ходили в голубых касках и жили в сборных белых домиках. Стены были из легкого пластика, дававшего тепло, потому мне не раз приходилось видеть, как сербы закапывают эти домики в землю, делают из них землянки. Вода в речке Каришнице была вся зеленая почему-то. Рядом с брошенными ломаными домиками остались кучи мусора: покопавшись, я обнаружил множество дешевых французских боевиков. На обложках мускулистые Рэмбо в беретах сжимали громадные автоматы. Книжки разбухли от воды. Первой, впрочем, категорией мусора были пустые французские бутылки из-под вина и консервные банки — родные мне французские консервы! Адриатика, низкая в этом месте, начиналась такой же зеленой водой, как и в речке Каришнице; если поплыть по ней в лодке, еще быстрее доберешься до Венеции.

Мне и ребятам из отряда военной полиции Сербской Республики Книнская Краина, впрочем, было не до путешествия в Венецию. Французы из UNPRAFOR уже несколько раз сдавали сербов хорватам. Дело в том, что, хотя батальон и назывался французским, в его составе было множество солдат из Иностранного легиона, среди них и хорваты по национальности, в том числе и несколько офицеров-хорватов. «Французы» эти были пристрастны. Был даже случай, когда французы передали хорватам два своих белых бэтээра, и те, заехав беспрепятственно в расположение сербов, неожиданно открыли огонь. Военная полиция с удовольствием отстрелила бы яйца нескольким моим согражданам (в кармане у меня лежал французский паспорт). Кажется, это мы и намеревались сделать в устье реки Каришницы, но французы исчезли в природе. Там дальше по побережью размещались виллы богатых горожан из Загреба — хорватской столицы, да и Белграда, ведь еще пару лет назад страна была единой. Сейчас виллы пустовали, большинство, несмотря на угрозы армейских властей, были разграблены. Паркетные полы изувечены.

Купаться было холодно. Потому я снял ботинки, засучил брюки до колена и, как был с автоматом, с пистолетом на поясе, в военном пальто с подстежкой, зашел в Адриатику по колено, обручился таким образом с нею, как венецианский дож! Солдаты, не понимая, что я делаю, улыбались. А я еще в 1972 году пообещал купаться во всех водах, какие подвернутся. Вот и выполнял обещание.

Затем мы ушли вверх, стали подниматься на суровое каменистое плато, где многие поколения сербов грудью отвоевывали от камней крошечные поля. По мере подъема адриатические воды, проглядывавшие внизу сквозь камни и кроны хвойных, перестали быть зелеными, сделались синими, а затем стальными.

Белое море / Северодвинск

Идиотизм ситуации состоял в том, что мы должны были, прячась, разглядывать родные заводы ребят — Володькину «Звездочку» и Димкин «Севмаш» — в… подзорную трубу! Прятались мы от вохровцев, которые могли увидеть нас, ползающих среди низких гнилых вод, в иссохших и полуистлевших плавнях, и встревожиться.

— Еще выстрелят на хер деды! — горячился маленький инженер «Звездочки» Володя Падерин, руководитель нашей партийной организации в городе Северодвинске.

Мы, чертыхаясь и матерясь, укрылись за трубами теплотрассы, и Падерин, вырывая у меня подзорную трубу, показывал мне гордо, но на дистанции — свой завод.

— Лидер националистической партии, блин, вынужден рассматривать русский завод как шпион, — переживал рядом обритый наголо Дима Шило.

— В то время как гребаного министра обороны, америкоса, только что принимали с оркестром, — закончил за него Падерин.

Министр обороны Соединенных Штатов приезжал поприсутствовать при разрезании очередной российской подводной лодки. Лодку разрезали, вынимали из нее ядерный реактор и списывали в металлолом. Услада для очей американского министра обороны. Его не только пустили на завод, ему там вывесили приветственные лозунги. Правда, неизвестные успели ночью написать на лодке «Янки, гоу хоум!».

Пошел дождь, каплями, мой, слишком артистичный для охранника, здоровый дылда охранник, бывший муниципальный мент Лешка Разуков взялся снимать нас на фоне далеких заводов и ангаров верфей. Вели мы себя точно как будто подтягивались к статье «шпионаж». Я сказал своим

спутникам об этом, все расхохотались и стали выбираться на дорогу. Дорога соединяла остров с материком, с городом. На острове находилось несколько рабочих кварталов, с острова же открывались заводские проходные. Выбравшись на дорогу, мы встали на фоне печального низкого Белого моря, спиной к той его части, где не было заводских верфей. На фотографии остались кляксы воды на объективе фотоаппарата Разукова. Мы стоим — под ногами рослые черные травы, пейзаж такой безрадостный, что я позднее назвал фотографию «Над вечным покоем». Была глубокая осень 1996 года, бесснежная, медленная и ватная. Меня тогда только что избили ногами в голову неизвестные, и Лешка Разуков был мой первый в жизни охранник. В результате нападения у меня оказались травмированы оба глазных яблока, и чувствовал я себя неспокойно, могло начаться отслоение сетчатки. Потому и на Белое море я глядел, не доверяя зрению — то ли море слезится, то ли глаза вождя Национал-большевистской партии.

Мы пошли дальше, теплый заводской беломорский затхлый ветер пах сероводородом. Гнилые дали, дымки, сырые заросли безлистых невысоких деревьев и обширные черные степи гнилых высоких серых трав. Тоска по глубокому аскетизму, по апостольской стуже нравов охватила меня, и я поотстал от товарищей. В таких местах, конечно, только и вырыть землянку, и выходить с ветхим неводом к низким берегам, и долго брести в растворе серого моря, прежде чем уронить невод. Сидеть в землянке перед сырыми дровами — коптить рыбу, думать о Вечном, о Боге в виде худого белотелого мужика. «В душах у вас черви» — как писал протопоп Аввакум. Мы шли к отцу Володи — Анатолию. Художник-любитель и резчик по дереву Анатолий Падерин был на пенсии, а пенсию он получал за то, что несколько десятилетий шлифовал вручную якоря для подводных лодок. Так что Володька — потомственный строитель-мореход. Окончив

кораблестроительный институт в Санкт-Петербурге, вернулся инженером на родной завод.

Нас тепло принимали Володькины родители, кормили, поили; когда стемнело, мы откланялись и пошли на берег низкого и плохо видного Белого моря. Разуков, в своих омоновских сапогах, зажег фонарь и пошел в море. Белое море было низкое, теплое и тихое. Его совсем не было слышно. Если бы не Разуков и его фонарь, Белого моря не было бы и видно. Правда, оно чувствовалось в воздухе как сырое и липкое.

От поездки на север Разуков проявил фотографии. Мы все выглядели там, над вечным покоем, странными людьми. У нас мягкие лица. Я в черной шапочке и в бушлате похож на отставного подводника. Шило и Падерин похожи на обедневших монахов из простолюдинов. Даже Лешка Разуков не праздничный и как бревно смирный. Природа Белого моря нас ухайдокала. Такое впечатление, что вот-вот мы превратимся в финнов. Природу вообще недооценивают, а она — сила. Кого хочешь согнет в свою сторону.

Северное море / Амстердам

Когда едешь из Франции в Голландию на поезде, то уже не испытываешь никакого уважения к подвигам вермахта, занимавшего европейские страны в считаные дни или недели. Там все так скученно. Все такое небольшое! Только открыл пиво, а уже противная свежевыкрашенная Бельгия стучит своими французскими станциями. Стук-стук, «Гаага» какая-нибудь, «Брюссель». Успеваешь заметить, что те же интернациональные компании выхваляют свои товары здесь, что и во Франции. Бельгия вообще географический нонсенс, часть провинций на французском говорит, часть по-валлонски, а это, кажется, диалект голландского. В Бельгии королевство учредили чуть ли не на самом носу XX века французы. У Сены возле Place de la Concorde есть монумент бельгийскому королю Альберту I в длинной французской шинели. После Бельгии, открыл едва вторую бутылку пива, стучат мимо платформы Голландии. Голландия — это на самом деле бетонная дамба, соединяющая Францию и Германию. Вдоль дамбы живет 20 миллионов сухопарых аскетических мужчин-циркулей и круглозадых белокожих женщин. У голландцев такие же длинные слова, как у эстонцев и финнов. Издательство моего издателя, Жоз Кат звали издателя, называлось «Верелдблииотеек» или как-то так, помню, что двойные буквы там встречались не то дважды, не то трижды. Поезд в Амстердам идет среди плоских унылых ровных домов, паркингов, деревень и намеков на поля — кочки какие-то. Это и есть Голландия — Полая земля. Там есть всякие узнаваемые названия на белых пролетающих табличках, над платформами синим шрифтом: «Гаарлем», например, а уж «Амстердам» тоже узнаваем. Ибо Нью-Йорк в самом начале своего существования назывался Новый Амстердам.

Станции пролетают. Пассажиры: развратная прыщавая девка все время облизывает губы, нахальный краснокожий индонезиец с остервенением жует свою жвачку и смотрит прыщавой голландке прямо туда, где у нее под тканью юбки — половая щель. Серый дощатый мен рядом с краснокожим смотрит туда же, но осуждает и девку, и краснокожего за молчаливое их соитие. А я еду к издателю.

Деревья у них острижены как доски, повторяют фигуру среднего статистического голландца. Пока я все это обдумывал и наблюдал — так и доехал. Амстердамский вокзал отвратителен. Цыгане, дети, ветер, пыль, стаканчики из «Макдоналдса», пустые банки, почему столько грязи?! Приличные люди прилетают в аэропорты? Над всем парили утешительные афиши выставки — ретроспективы Ван Гога — Винсент с отрезанным ухом.

Во второй приезд 6 декабря 1990 года я пошел искать в Амстердаме порт.

— Никакого порта нет, Эдвард! — грустно поведал мне Жоз Кат.

Я ему не поверил. Есть песня Бреля «В порту Амстердама! В порту Амстердама!» о бедном покинутом матросе, короче, отличная песня, в те годы я чувствовал себя бедным покинутым матросом, потому что носил бушлат, то были годы бушлата, и чувствовал себя покинутым. А покинутым я себя чувствовал потому, что тогда длительно, в муках, медленно, с томным и поганым удовольствием умирала наша с Наташей любовь. Я сам от нее уходил, головой вперед в черные дыры войн и революций. Я не мог устоять, так меня тянуло, такой был соблазн. Ведь я был рожден для войн и революций, а их все не было, и только когда мне уже было 48 лет, я со счастливой улыбкой влетел, головой вперед, в войны и революции, в их угольное ушко смерти. А у Наташки был только бабий орган. И все, что она могла сделать, это опустить себя с каким-нибудь прощелыгой. Что она и делала. А я приезжал

с войн и воображал себя несчастным матросом, и все трубы, все флейты, барабаны Бреля звучали у меня в ушах, когда на следующее утро я вышел из чистенького отеля пансионата, уже пьяный, и пошел искать Porte d'Amsterdame…

Dans le port d'Amsterdam… Dans le port d'Amsterdam… Пришлось обратить свой спич к вокзалу и там аккуратно спросить по-английски «How can I find a seaport?»* у пары подростков. Они, не колеблясь, показали мне направо. Было холодно. Было очень холодно и сыро, и хотя никакого Северного моря пока не появилось, только заборы и за ними строения фабричного типа, оно, Северное, висело вокруг меня, сырое, налипло мне на волосы, щеки, уши и лоб.

— Сука, пьяная девка, — ругался я, стискивая зубы. И вспоминая, как еще вчера (или позавчера?), прилетев из Америки, не нашел жены дома. (Я знаю, я знаю, я уже писал об этом, но я хочу еще! Еще!) Я вошел в кухню, и там были свалены на столе: тарелки, приборы, салфетки. Сигареты в пепельнице. Тарелок — две, два бокала. А почему я решил, что у нее был мужчина? Ее так и не видел, она не появилась. Я лег, не раздеваясь, в затхлую постель, выпил принесенную мною бутылку вина и забылся жарким сном. Во сне я увидел опять щель нашей кухни, столовые приборы, окурки в пепельнице, ее и его…

Утром я встал и поехал на Северный вокзал и сел в поезд в Амстердам. Так было договорено с издателем. Билет уже лежал еще до отлета в Соединенные Штаты в моем ящике стола. У меня было много обязанностей, много издателей… Сука! Дрянь! Пизда. Она знала, что я уеду тотчас в Амстердам. Северное море я обнаружил. В запутанных складках бетонного одеяла я увидел серую воду. У воды был причален строящийся корабль. На палубе пилили бревно. Под складкой бетонного одеяла сидели клошары в одеялах, среди них

---

* Как пройти к морскому порту? (*англ.*)

две потасканные девки и краснокожий индонезиец, и что-то пили из двух бутылей.

Встретившийся мне, грудь колесом, седовласый не то моряк, не то строитель потер руки (ветер крепчал) и пояснил, что вся Голландия — это порт, от Роттердама до Амстердама.

— Polish?* — спросил он меня.

— Yes, polish**, — ответил я безучастно.

Мимо огромного китайского плавучего ресторана, перед ним на паркинге стояли лишь две автомашины, я вернулся в Амстердам. Yes, polish.

---

* Поляк? (*англ.*)

** Да, поляк (*англ.*).

Азовское море

Я ходил тогда в зеленом модном крупной вязки свитере, достигавшем мне чуть не до колен, в расклешенных брюках, сшитых мною самим. Я жил на площади Тевелева, 19, с женой Анной, 28 лет, и ее шестидесятилетней матерью, в квартире из двух комнат, в самом что ни на есть центре Харькова. Я писал стихи, ходил пить кофе и портвейн в модное место — в закусочную-автомат на Сумской улице. Там даже был в те годы швейцар, и он называл меня «поэт». То есть я был жутко модный центровой мальчик. Мне было 22 года. Никто не мог бы догадаться, что еще за два года до этого я работал сталеваром на заводе «Серп и Молот». Анна Рубинштейн и богема хорошо пообтесали меня.

Это именно Анна всучила меня Сашке Черевченко, молодому поэту и журналисту, сотруднику газеты «Ленінська зміна», когда Сашка поехал в командировку по маршруту Бердянск — Феодосия — Алушта — Севастополь писать статью о черноморских бычках.

— Возьми Эда с собой, Сашка! Он тут спивается только со своим Геночкой, — причитала Анна.

Харьковский плейбой Генка Гончаренко.

Интересно, что все, кто причитал, что я сопьюсь или спиваюсь, спились сами или другим способом самоуничтожились! Сашку и Анну связывала Валя, украинская рослая кобыла, работавшая вместе с Анной продавщицей в магазине «Поэзия», Сашка «встречался» с Валей. Кудлатый, высокий, бывший матрос и курсант, Сашка снизошел к просьбам и взял меня, ему, впрочем, нравились мои стихи. Я был оформлен в командировочном удостоверении как фотограф, а чтобы я выглядел таковым, мне выдали кофр на ремне, в котором фотоаппарата не было, да и снимать я не умел, в кофр я положил смену белья.

Интересно, что Сашка Черевченко сейчас живет в Риге, он редактор русскоязычной газеты, насколько я знаю, это самая крупная русская газета Латвии. После того как в марте 1998-го на арену латвийской общественной жизни вышла Национал-большевистская партия и оказалось, что я председатель этой политической организации, Сашка передал мне через приехавших в Москву журналистов свой пылкий краснофлотский привет. Его газета обильно пишет о нас. Если бы в России уделяли нам столько внимания, сколько в Латвии, партия национал-большевиков была бы уже в Государственной думе.

Мы отбыли в поезде на юг рано утром. И уже к вечеру мы прибыли в Бердянск, в порт на Азовском море. И пошли в местный горком партии. И секретарь горкома принял двух молодых поэтов тотчас после того, как из двери его кабинета вышел генерал в лампасах. Мое самоуважение и мое уважение к Сашке тотчас подскочили. В кабинете на обитых красным бархатом стульях мы поговорили о бычках. Поголовье бычков в Азовском море неуклонно уменьшалось. Еще мы узнали, что именно в Азовском море, ввиду его малости и мелководности, часто бывают самые жуткие истории, какие только можно вообразить. Сашка все записывал, что говорил секретарь, а я не фотографировал. По ковровым дорожкам мы вышли из здания горкома и пошли в порт. Поговорили с рыбаками или с теми, кого приняли за рыбаков. С нежностью и умилением все эти люди славословили бычка. И выражали сожаление его исчезновению. Сами они — и рыбаки, и люди из горкома — были похожи на корявых бычков: по-южному загорелые, большелобые, пыльные длинные брюки закрывали их башмаки и превращали в русалок мужского пола. Они как бы росли из бердянской пыли, из бетона в порту сразу начинались их хвосты. Такие ходячие бычки они были.

Приехав в первую в моей жизни командировку, я ожидал увидеть — как Джонатан Свифт или Геродот — необычных

существ, а увидел все тех же лохов, что и в континентальном, далеком от моря Харькове, — только морских. Мне стало скучно. Слава богу, мы сразу купили билет на теплоход до Феодосии.

Едва загрузившись в теплоход, Черевченко попал в руки капитана-инструктора. Познакомившись, они обнаружили, что оба проходили морскую практику на крейсере «Дзержинский», только в разных поколениях. Сашку, беднягу, комиссовали с «Дзержинского» по состоянию здоровья, потому у него не получилось карьеры моряка. А он уже успел окончить до этого Севастопольское военно-морское училище. Капитан-инструктор пошел, проверил, правильно ли ведет себя нормальный капитан, управляющий теплоходом. Убедившись, что все нормально, он возвратился и пригласил нас в свою каюту. Вот там все соответствовало моим стандартам. Бронза и медь были надраены, все, что белое, выглядело разительно-белым, в крайнем случае — ярко-белым. Кто был ответствен за появление бутылки коньяка, я давно не помню. Кажется, юный: кудрявый верзила Сашка, он был тогда лауреатом премии комсомола, считался восходящей звездой харьковской поэзии, на нем был светский налет, на Сашке. Мы пили коньяк с лимоном, капитан-инструктор с легкостью ронял магические имена портов Мирового океана: Порт-Саид, помню, не покидал эфирное пространство вокруг нашего стола. Я был очень горд, сидя между двумя морскими волками, я наслаждался. Говорил я мало, но замечал многое.

Между тем утюг нашего теплохода стало сильно закачивать. И мы, предводительствуемые разогретым капитаном, отправились в рулевую рубку. Там нас не ждали, но приняли радушно. Рулевой вспотел от напряжения, оказывается, штормило уже к четырем баллам. Через четверть часа шторм достиг всех пяти. Светлогрушевые волны, как в стакане газировки, время от времени омывали стены рулевой рубки. Поверхность Азовского моря кособоко появлялась

в различных ракурсах на стекле. Однажды оно появилось под 90 градусов, ей-богу, правда… То есть наш утюг сдвинулся, и море сдвинулось, и получилось, что мы как бы вертикально идем ко дну. Но не пошли, ужас длился мгновение. Это был первый шторм в моей жизни. Я обнаружил, первое: что я не подвержен морской болезни. Второе: я все ждал, что о стекло рубки хряпнется кальмар или осьминог, чего не случилось. Третье: море в шторм и после шторма пахло как бочка с огурцами.

Наш утюг прибыл в Феодосию напуганным и чуть потрепанным. Море сорвало и смыло спасательную шлюпку. Капитану-инструктору было не до нас, но он крепко пожал нам руки, когда мы спустились по трапу. Его ждали нудные завхозские заботы: составление акта на смытую шлюпку и прочее. Нас приветствовала Генуэзская башня. (По-моему, она была серая.) Феодосия ведь знаменита тем, что ее построили генуэзцы.